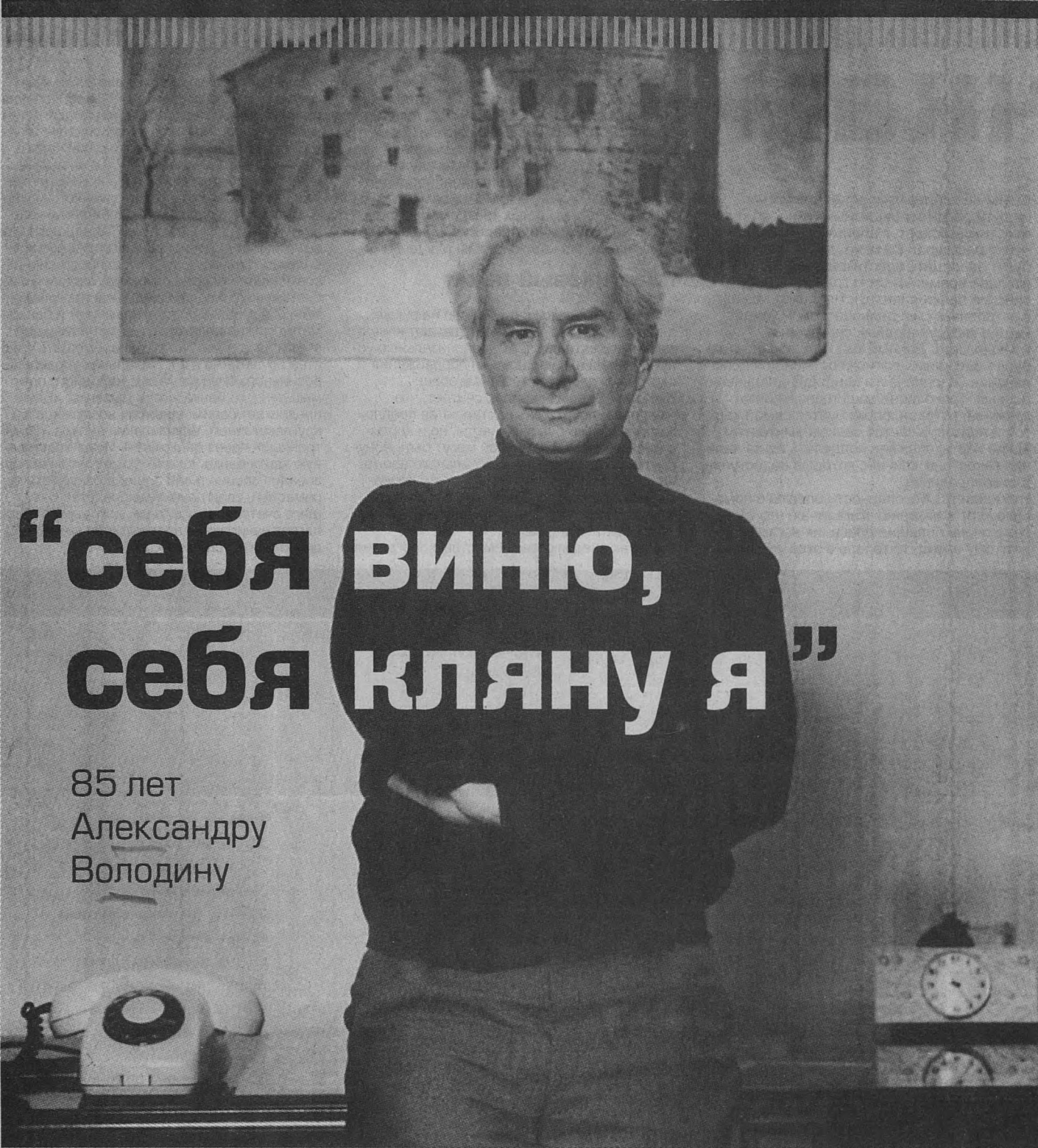




дата



В качестве прототипа для персонажей шутов, лишних людей и аутсайдеров в своих пьесах Александр Володин всегда выбирал себя. Фотограф: Валерий Плотников

“себя виню, себя клянущу я”

85 лет
Александру
Володину

Исполнилось 85 лет со дня рождения замечательного драматурга Александра Володина, автора «Осеннего марафона». Это первый юбилей, который справляют без него. В Петербурге прошел посвященный Володину фестиваль «Пять вечеров», на доме № 44 по Большой Пушкинской улице появилась мемориальная доска, а в Театре на Литейном — даже рюмочная имени Володина. Памяти драматурга посвящена книга «О Володине. Первые воспоминания», которая выходит в издательстве «Петербургский театральный журнал». Выдержки из нее сегодня эксклюзивно публикует Газета.

Станислав Любшин: «Володин — это моя судьба»

«...Что такое Володин для меня? Это моя судьба. За двадцать лет до фильма Никиты Михалкова в «Современнике» шел спектакль «Пять вечеров». 59-й год, я заканчиваю Щепкинское училище, играю в «Оптимистической трагедии» Сипилого. Табаков тогда был в комитете комсомола, работал с молодежью, ходил, осматривал дипломные спектакли. Он и рекомендовал меня в «Современник». Мы приходим с Эдуардом Марцевичем показывать Олегу Николаевичу Ефремову и художету, меня приглашают, а дальше события разворачиваются следующим образом. Олег Табаков играл в спектаклях «В поисках радости» и в «Пяти вечерах» — Славу, студента. Дирекция что-то перепутала, и одновременно в разных местах города были назначены два спектакля. Все схватились за голову. А в «Современнике» была такая демократическая обстановка, что молодые актеры могли подавать заявки на роли. Я подал заявки на семь ролей. Кроме тех, где играл Олег Николаевич Ефремов. А когда я в «Современнике» увидел «Пять вечеров», на меня это произвело такое впечатление, что я запомнил всю пьесу, все роли и все мизансцены. Олег Николаевич играл Ильина, Лиля Толмачева — Тамару, Нина Дорошина — телефонистку. Меня вызывает дирекция и говорит: «Наверное, ты и в «Пяти вечерах» хочешь сыграть?» В три часа дня меня привозят к Ефремову. Он болен, у него плеврит, он лежит забинтованный, говорить не может, и мы с ним репетируем. Я говорю текст, а он вместо своего монолога поднимает палец. Такая репетиция. А в семь вечера он в лучшей форме, как будто ничего

и не было... После срочного ввода на роль Славы меня оставили на ней, я стал играть в очередь с Табаковым. А дальше новый поворот. Володин, посмотрев спектакль Олега Николаевича Ефремова «Пять вечеров», остался не очень доволен. Почему? Потому что Олег, видя товстоноговские «Пять вечеров», постарался сделать так, чтобы у него было не похоже. И что-то там сдвинул, и Володин как-то напругся. А Галина Борисовна Волчек, тяготея к режиссуре, стала заниматься с нами, с теми, кто был введен в спектакль, ввела еще артистов и сделала новый спектакль. И была новая премьера. Ильина играл Владимир Заманский, Главного инженера — Евстигнеев. И опять приехал Володин, который очень хорошо принял наш спектакль. Играть Славу уже в решении Галины Волчек, я поверил в себя как актер. Когда молодой актер приходит, ему могут давать маленькие роли, могут большие, ты зависишь от вводов и сам сомневаешься — будешь ты артистом, не будешь. А когда в «Пяти вечерах» был уже не ввод, а с самого начала сделанная работа, я уже знал, что могу быть актером, кто бы как ко мне ни относился. И получилось, что вся моя судьба связана с Александром Моисеевичем Володиным. Да. Ровно через двадцать лет Никита Михалков делает мне такой подарок. У него в середине съемок «Обломова» был месяц перерыва. Снимали осенью, потом нужна была зима. И чтобы не отдавать группу, которую растащат по другим картинам, он запустил «Пять вечеров». В течение этих пятнадцати или семнадцати дней съемок атмосфера была потрясающая. Большого уважения к актеру я в своей жизни не встречал... Хотел я даже сам фильм по Володину снять. Только вот не удалось. Когда-то я снимал с Митей Долинным фильм по повести Чехова «Три года». Позвонил Володину и попросил: «Александр Моисеевич, напишите сценарий». Он утром перезванивает, говорит: «Слава, по-моему, нельзя написать по повести Чехова сценарий». — «Тогда мы сами напишем!» И когда он увидел наш фильм, ему он очень понравился. И он дал мне сценарий, «Блондинка» назывался. И я уже подготовил режиссерский сценарий, могли запускаться, но на «Мосфильме» сделали хитрый ход: мол, план уже на год сверстан, давайте год подождем, потом давайте еще подождем, и как-то сумели все отвести: мол, крупные полотна надо, БАМ строят, а вы на мелкотемье все жмете».

Олег Басилашвили:

«он не писатель, он — антиписатель»

«Сценарий будущего «Осеннего марафона» назывался у Володина «Горестная жизнь плута». И плута, Бузыкина, устраивало это статус-кво: жена и любовница, кото-

рые молчат, а он мотается между ними, сам себя уничтожая. Плут! Но Данииля понял, что так, как к плуту, Володин относится к самому себе и своим отношениям, и очень много изменил в сценарии, вплоть до текста. Правка была внушительнейшая. Он требовал, чтобы Володин каждый день сидел на съемочной площадке, Саше это не нравилось, но Гия заставлял — и он сидел, аккомпанировал, поправлял. Данииля говорил: «Сценарий замечательный, но он скорее для сцены» — и выбрасывал театральные фразы. На некоторых я настоял — и был в итоге не прав. На все переделки Володин не просто шел, он шел на них с радостью, целиком и полностью доверяя Даниилю. «О чем мы снимаем картину?» — спросил я Даниилю. «Зачем тебе это знать?» — «Ну, я же артист, должен понять...» — «Я снимаю картину о себе» (у него тоже в это время была какая-то история: любил одну, любил вторую...). Мне это было совсем не близко. Я подумал: вот у меня партнерша, замечательная актриса Неелова. Мог ли быть у меня с нею роман? Скорее всего — нет. Гундарева... Нет. А что же тогда такое для меня Бузыкин? И я понял: для Бузыкина самое дорогое — письменный стол, книжки. И чтобы никого не было! И сидит он, как Маршак, и получает удовольствие: это — мое... И ничего не надо никому показывать! И можно делать книгу! И хорошо бы эти женщины вышли за каких-нибудь героев-космонавтов, устроили свои судьбы и оставили его в покое... Гия тянул в другую сторону, а я — в тоску по зеленой лампе. Которая, думаю, была и у Володина. И когда все склеилось вместе, когда Данииля смонтировал картину, он пришел и сказал: «Она не будет называться «Горестная жизнь плута». Она будет называться «Осенний марафон». Почему??? Он повернулся: «Сам знаешь» — и ушел. Мы с ним не были близки, я не играл в его пьесах. Только в кино. Но я его очень любил. Он ведь не писатель, Саша, он — антиписатель. Вот взять моего любимого Виктора Конецкого: он всю жизнь вырабатывал в себе писательские качества и достиг очень многого. Саша этим не занимался. Он — типичный графоман, все написанное им написано вопреки всяким правилам. Он — как Пиромский, не подходит ни под какие мерки. Но благодаря именно этому своему «неумению» писать литературу он стал тем самым Володиным, который пробил дыру в ледяной стене умений. Возникла оторопь: подождите, значит, обязательно должны быть завязка, развязка, положительный герой? После него люди стали как-то оглядываться друг на друга. Он в драматургии и Товстоногов в театре были первые. «Пять вечеров». Просто коммунальная квартира, журчащее радио, комната без окон. И это, оказывается, предмет высочайшего искусства! Или помните, в «Осеннем марафоне» Бузыкин не хочет подавать руки, а входит этот

Он всегда стоял у притолоки, чтобы быть незаметным. Его место всегда было именно там — «прислонясь к дверному косяку»

85 лет со дня рождения Александра Володина

человек — и он подает... Потому что как же можно не подать руки тому, кто подает руку тебе?... Вот тонкость володинских наблюдений над жизнью, над нами. Знаете, у Ван Гога был начальный «темный» период («Едоки картофеля», например), а потом раз — и «Подсолнухи». Как будто протерли мокрой тряпкой запыленные стекла — и хлынул свет! Так и у Володина. Только у него не было первоначально «темного» периода, он сразу начал с протертого окна. А «Едоками» были все Корнейчуки, Софрониовы. Даже и Розов. Вся советская драматургия. Всю жизнь он не считал себя ни поэтом, ни писателем, а просто жил. Не старался. Чехов все-таки садился и писал. А у этого как-то все само собой...»

Марина Дмитриевская:

«ему вечно и за все было стыдно, неловко»

«Володин был абсолютно свободным человеком, хотя сам-то все время чувствовал несвободу. Мне кажется, что больше всего его свобода проявилась в том, что он искренне обнародовал и сделал достоянием искусства две свои личные драмы: «Осенний марафон», фильм на все времена, воплотил его «горестную жизнь плута», а «Записки нетрезвого человека» в традициях русской литературы уязвоили идеологию пьянства как освобождения. Дилектика свободы-несвободы была парадоксальной. Случалось, мы вместе оказывались на похоронах, панихидах. Он всегда стоял у притолоки, чтобы быть незаметным. Его место всегда было именно там — «прислонясь к дверному косяку». И когда после вручения «Триумфа» всех привели на встречу с Путиным, он тоже вжался в угол у двери. «Но представляешь, входит Путин, а я первый, у двери, и он мне первому жмет руку! Так неловко. А я все хочу ему про Чечню сказать — какой там ужас!» И ведь сказал во все камеры, которые ждали от него радости по поводу премии, — именно про войну. Как солдат, прошагавший ее от звонка до звонка. «Я не могу смотреть спектакли про войну, потому что сапоги стучат по планшету. А самое сильное физическое ощущение от войны — четыре года отсутствия пола...» И еще он говорил: «Они играют военные спектакли в гимнастерках, а мы уходили на войну в клетчатых ковбойках. Гимнастерка защищает, а ковбоекка нет. И мы всю войну чувствовали себя незащищенными». Фетиш свободы для их поколения был просто какой-то болезнью. Иногда до смешного. Когда в последнюю володинскую зиму его жена, возле которой он дежурил ночами, попала в больницу и Александр Моисеевич остался в доме один, под присмотром приходившей накормить его Марьям, он со стыдом признавался мне, что испытывает блаженство: один! свободан! Жена чувствовала себя плохо, не было уверенности в том, что она вернется домой, и Володин почувствовал, что к нему хочет перейти Л. (как он ее звал в наших разговорах), героиня его последнего — двадцатилетнего — «осеннего марафона». Еще незадолго до этого он писал ей стихи, встречался... А тут звонит мне как-то ночью и решительно заявляет: «Я от Сталина не зависел, от Хрущева не зависел, от Брежнева не зависел, от Горбачева не зависел, от Ельцина не зависел... и от Л. зависеть не буду!»

Он мог сегодня говорить одно, завтра другое, всегда утром извинялся за сказанное накануне вечером, ему вечно и за все было стыдно, неловко. Конечно, чувство стыда усугублялось выпиванием (если вечером пил — с утра всегда неловко) и стало тяжелым, нараставшим день ото дня комплексом.

Виновных я клеймил, ликуя.

Теперь иная полоса.

Себя виню, себя клянущу я.

Одна вина сменить другую

Спишит, дав третьей полчаса.

Именно он, счастливый и несчастливый, с легкостью человека без страха (только с прекарами и только самому себе) говорил о нашей жизни то, что хотел, видел ее так, как видел. До самого своего конца. Ему было стыдно за советскую власть, чиновников, их подчиненных и за себя, который ничего не может сделать. Ему было стыдно за тех, кто едет в «Мерседесах», и тех, кто сидит на паперти, и за себя, который опять ничего не может. Было бы неправдой сказать — он не знал, кто он. Знал. Ему так часто говорили о его величии, его так искренне любили, что, конечно, в глубине души он знал себе цену. Но так же искренне старался забыть ее. Когда посыпались премии, подарки, его комната ничуть не изменилась. Он куда-то все девал, раздаривал. Редкая птица, которая прижилась на его шкафу, была действительно... птица. В самом начале 90-х мне подарили эту мягкую игрушку в Германии, и она сидела в редакции. Однажды пришел Володин, встал напротив — и мы поняли, что он будто посмотрелся в зеркало, так он и птица были похожи. Я сунула ему носатую, с бусинками-глазами, в седых лохмах птицу — и она просидела у него на шкафу до самой смерти. А в сороковины я съездила на Пушкинскую и с разрешения близких забрала птицу в редакцию. Она живет в подвале «Петербургского театрального журнала», поражая всех своим сходством с Володиным. Неремонтированная кухня, потолок в лохмотьях облупившейся краски, старый холодильник. Кажется, ему было неловко хоть как-то улучшить свой быт, когда другие живут плохо. Или он боялся искушения «другой жизнью»? Все

было неизменно: на стене над пианино, на котором играл Окуджава (а соседи стучали в стенку, чтобы прекратить шум), всегда висела фотография Лены Прокловой, под стеклом лежали фотографии Фриды-девички, детей и Беллы Ахмадулиной. Эту квартиру я бы превратила в музей шестидесятничества. Может быть, это был единственный дом знаменитого человека, устоявший перед натиском комфорта и евростандарта. Он не дал возможности и права себя прикормить. Никому...»

Кирилл Лавров:

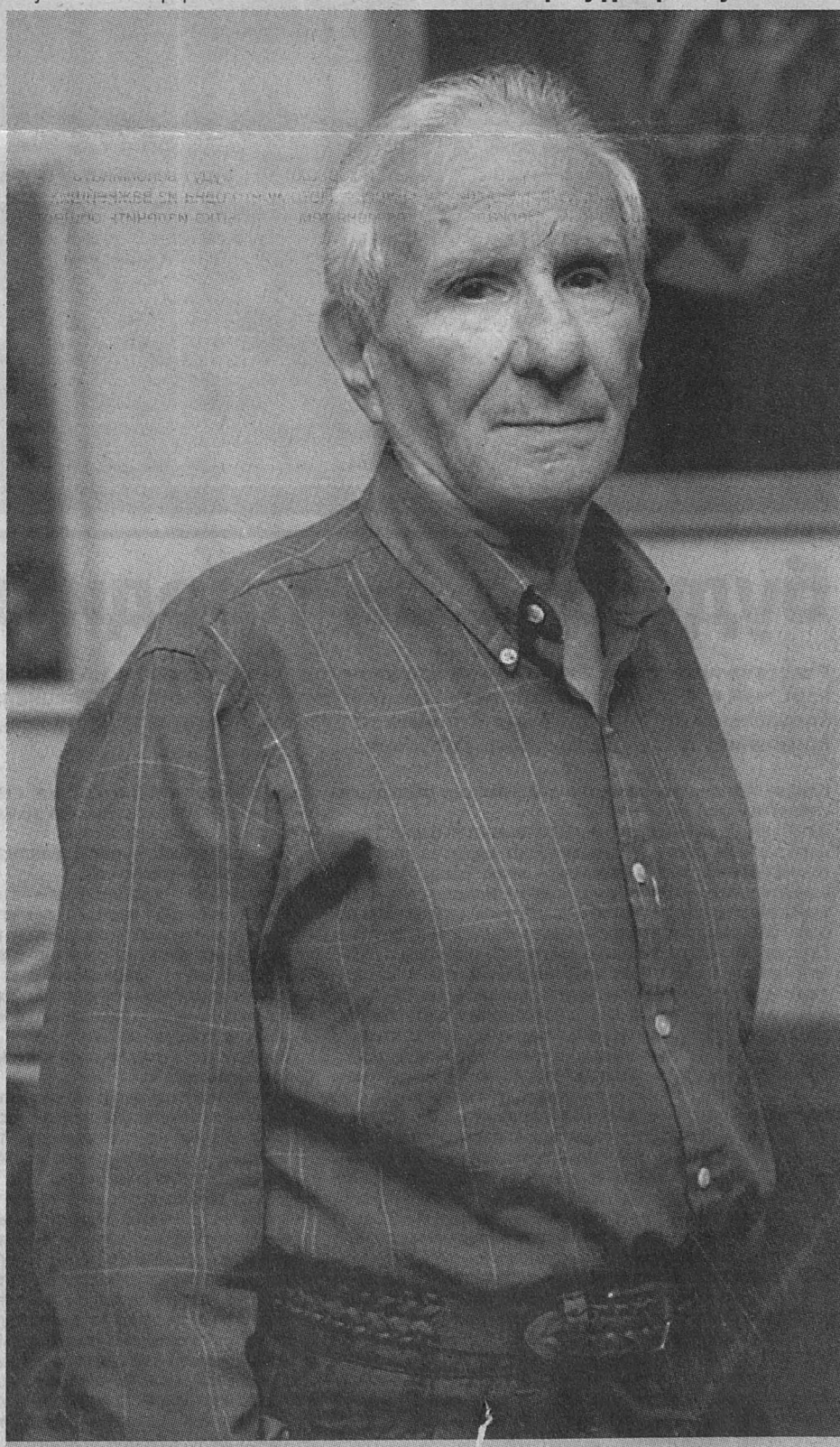
«он был против слов»

«Он как-то незаметно вошел в мою, в нашу жизнь. Он и в театр пришел как-то незаметно. Сидел тихо в зале. Но — вошел и стал неотъемлемой частью Ленинграда, нашей общей жизни... И как-то незаметно сорок лет назад мы перешли на «ты»... Безумно жалко, что он мало пьес написал. Но и Чехов — всего четыре... Володин всегда поражал меня тем, что в нем, тихом и очень застенчивом человеке, настоящая бойцовская душа. Он никогда не шел на внутренние компромиссы, позволял говорить то, что считал нужным, где бы это ни было, — и дружным своим, и врагам своим. Всегда — собственная, личная позиция. Он мог быть и неожиданно резок, мог и матом чиновников покрыть, и дверью хлопнуть. Как драматург он вел себя необыкновенно скромно. Я помню других, которые боролись за каждое слово, а Саша всегда был удивительно чуток к тому, что происходит на сцене. Всегда тихонечко сидел где-то за Товстоноговым в зрительском зале, не помню случая, чтобы вскочил, спорил. Он вообще никогда не ставил амбициозных целей (а сегодня губят театр именно амбиции), моментально хватал актерские предложения. Он пришел — и люди в театре заговорили как в жизни. Не арбузовским слогом и даже не розовским, а тем языком, которым мы разговаривали на кухне и на улице. Он был велик тем, что не допускал в своих текстах никакой фальши. Никакой преувеличенности, пафосности. Но когда у нас появились «Пять вечеров», это произвело, как ни странно, эффект взрыва. Он удивительно тонко чувствовал жизнь. Совсем не так давно, когда мы репетировали «Перед заходом солнца» и зашли в очередной тупик, я решил, что надо сойти к Сашке, и мы отправились на Большую Пушкинскую: Гриша Козлов, Марина Дмитриевская и я. Пришли в эту его комнатку... Почему шли именно к нему? Потому что я чувствовал старорежимность текста и не-

обходимость приблизить его к нам, а в Саше я всегда ценил именно понимание современной драматургии. Он знал, что нужно именно сегодня, чуток чувствовал настроение сегодняшнего дня, современное звучание текста. Мне казалось, что только он может подсказать, как преодолеть гауптвадскую риторику. Прочитав пьесу, Сашка сказал, что Гауптман — ужасный драматург. И вообще как можно сейчас это играть! Наверное, он во многом был прав, хотя мне кажется, что этот старик Гауптман, который преклонялся перед Гете и в котором звучали какие-то последние впечатления от уходящего века, был не так уж безнадёжен, в этом Володин перебирал. А прав был в том, что он слишком многословен и тяжеловесен... Мы начали читать какие-то страницы, и Саша говорил: «Вот здесь бы просто помолчать...» Он был прав, я и сейчас, играя спектакль, часто чувствую: слишком много слов, объясняющих то, что должно быть понятно и без них. Например, когда я говорю Инке: «Человек так ужасно двойственен», это можно гораздо выразительнее сыграть, чем произнести эту фразу. Саша точно чувствовал тогда то, что кажется главным и мне: высокий строй мыслей Клаузена, который говорит, что высокое и прекрасное дело всей его жизни превращается в пошлых руках в мелкое торгашество. Но он был против слов... Говорил: «Молчи. Когда ты молчишь — я тебе верю. И все поверять». И действительно, это же великое достижение ЕГО театра — умение молчать. Он умел молчать сам как драматург и заставлял молчать персонажей. Особой зоной молчания была судьба Ильина — Копеляна (Ильин вернулся с севера, но все читали за этим возвращение из лагерей). За володинским емким, значительным молчанием скрывалось главное. И, конечно, понимал про любовь! У Клаузена есть реплика: «Когда меня озаряет райский свет, я вижу синее небо и тебя, голубые швейцарские озера и тебя!» Сашка говорил: «Надо убрать «и»! Синее небо — ТЕБЯ! Голубые швейцарские озера — ТЕБЯ...»

Он всегда жил той жизнью, которой живут все, не был драматургом над ситуацией, он всегда существовал внутри всей этой жизни, был ее участником. Вся его неустойчивая собственная жизнь, рюмочная по утрам и все прочее — все это потому, что он жил внутри этой жизни, знал ее великолепно. И поэтому каждая реплика, каждое межмоментье было подслушано, подсмотрено среди тех, кого он хорошо знал».

Газета благодарит за предоставленные материалы редактора и составителя сборника «О Володине. Первые воспоминания» — **Марину Дмитриевскую.**



Александр Володин. Фото из архива «Петербургского театрального журнала»